

**ДМИТРИЙ
КОРОВНИКОВ**

16

**КУРСАНТ
ИМПЕРИИ**

Дмитрий Коровников

Курсант Империи - 16

«Автор»

2026

Коровников Д. Н.

Курсант Империи - 16 / Д. Н. Коровников — «Автор», 2026

Ты молод, богат и беззаботен? Думаешь, мир у твоих ног? Что ж, пришло время расплаты, парень! Родина-мать призывает тебя под ружье. Забудь о девочках, тусовках и папином наследстве. Теперь твой дом казарма, а семья братья по оружию. Империя не спрашивает, она приказывает. И ей плевать, мечтал ли ты стать ее защитником или нет. Так что заткнись, бери штурмовую винтовку, натягивай броню и готовься к бесславной гибели на очередной забытой Богом планете, в окружении таких же недоносков, как ты. P.S. И помни: твоя жизнь теперь принадлежит Российской Империи. И сдохнуть за нее не самый худший из имеющихся вариантов. Такие дела, курсант Васильков...

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Дмитрий Коровников

Курсант Империи - 16

Глава 1

Мафусаил Семёнович Барчук был страшен в гневе. Сам он в этом не сомневался ни секунды — а перечить ему на «Сове» давно никто не отваживался, так что и разувериться было негде.

Прапорщик Лютый шагал следом на полшага позади, на голову с лишним выше, и начальственной уверенности не разделял ни на грош. Зато боялся честно, до сухого озноба между лопаток, какого не выжали из него за всю службу ни здешние морозы, ни всё то, что он на этих морозах вытворял. Боялся и не показывал: выказать перед Барчуком страх было способом нажать беду ещё вернее.

Глядя со стороны, бояться было решительно нечего. Рядом шёл маленький, кругленький, с непокорным животиком, который не желал прятаться даже под наспех запахнутым халатом; седые пряди, с утра завитые, а теперь обиженно обвисшие вдоль щёк, — Мафусаил Семёнович больше всего смахивал на рассерженного домашнего кота, которого сняли с тёплой подушки раньше срока. Хочется потрепать по загривку, а не дрожать перед ним. Но Лютый знал то, чего не знал случайный зритель: коготки у кота имелись, в ход шли охотно, и не сыскалось пока в колонии смельчака, который рискнул бы потрепать этот загривок дважды.

— С самого начала, — бросил Барчук, не оборачиваясь, мелко и сердито семена по тёпловому коридору. — И не части. Я желаю распробовать в подробностях, каким это манером ты ухитрился опростоволоситься.

— Виноват, Мафусаил Семёнович. — Голос у Лютого для такой груди выходил обидно тонкий, и он сам это слышал. — Сканер на поле отказал. Мороз, технику клинит, а вы не велите контингент на холоде держать, вот я и рассудил

— Я не велю, — Барчук стал так резко, что прапорщик едва не пропахал начальника животом и нелепо замер. — Я, дружок, много чего не велю. И ещё больше — велю. Велю, к примеру, проверять каждого новоприбывшего. Каждого, кто переступает порог моих владений. Тут тебе не проходная при складе с морковью: прилетел, улетел, в ведомости галочка. Сюда залетают один раз и навсегда. А кто стоит у дверей, тот за вошедших и в ответе. Своей, заметь, головой, дорогой мой.

Барчук смерил прапорщика взглядом снизу вверх — прицельно, как смотрят на полку, прикидывая, выдержит ли вес.

— Голова пока при тебе. Ключевое слово — пока.

Они шли дальше. На ходу Барчук содрал с плеч халат — тёмный, домашний, с обвисшим поясом — и сунул назад не глядя, твёрдо зная, что вещь не уронят. Лютый и не уронил: поймал халат на локоть, переложил туда же висевший китель, подал начальнику в подставленную за спину ладонь, принял обратно сброшенное. Весь этот гардеробный танец исполнялся на ходу, в полушаге, по нотам, разученным за годы. Громадный прапорщик в роли передвижной вешалки при сердитом коротышке — зрелище на «Полярной Сове» привычное, и не сыскалось пока дурака, который посмеялся бы над ним вслух.

Коридор уперся в лифтовую капсулу. Та приняла обоих в тесное зеркальное нутро, мягко екнула и понесла вниз — в самую утробу колонии, где дожидался сортировочный модуль, который тут по застарелой привычке звали «прихожей». Привозят, считают, разводят: этого в барак, того на работы, а кое-кого, поговаривали вполголоса, и вовсе по адресу, которого в ведомостях не значится. Капсула шла бесшумно, только посвистывал за стенкой воздух да сам

Барчук, привстав на цыпочки перед зеркалом, пальцами пытался воскресить кудри, помятые подушкой.

— Так что у нас вошло, любезный? — спросил он, не отрываясь от зеркала, и голос его вдруг сделался мягким, почти ласковым.

От этой ласковости у Лютого окончательно свело живот. Ласковый Барчук был куда страшнее Барчука сердитого — это знала вся колония, от младшего надзирателя до последнего доходяги в бараке.

— Договаривай, не тяни. Я неожиданностей, ты знаешь, не люблю.

Капсула пискнула и встала.

— Тридцать голов, — выдавил Лютый. — Численность по ведомости. Я лично пересчитал, поштучно. Майор — тот же, что и возит, и рожа у него, как всегда, такая, будто ему весь свет задолжал. Завели, стали снимать одеяла. И тут — голос прапорщика переломился, сполз на сип, — и тут оказалось, что это совсем не «мясо».

«Мясо» — так на Харпе-7 называли новоприбывший контингент. Без особой злобы даже, а по-хозяйски, как кладовщик зовёт тарой всё, что катает со склада на склад. Мясо привозят. Мясо считают. Мясо ставят на работы. Беда прапорщика Лютого была в том, что мясо ему в этот раз досталось говорящее, считающее не хуже него самого и крайне довольное собой.

Знаю. Потому что одним из кусков этого мяса был я.

Александр Васильков — на случай, если кто запамятовал. Рядовой. Штрафник. А на ту минуту вдобавок ещё и заключённый под чужим номером: под лёгким, противно потрескивающим одеялом на мне сидела оранжевая роба, ровно такая же, как на двадцати девяти моих свежеприобретённых соседях по цепи. Как имперский военнослужащий очутился в каторжном тряпье посреди самой глухой и опасной колонии Российской Империи, да ещё и ухмылялся при этом, будто кот у опустевшей птичьей клетки, для этого мне придётся отматывать сначала минут на пятнадцать назад. Рассказчик из меня выйдет пристрастный, врать не буду: я всё это затеял, мне и хвастаться.

Так вот, ещё на поле, пока мы не столько шли, сколько вприпрыжку скакали к чёрной туше здания — на здешнем морозе неторопливо ходят ровно один раз в жизни, и он же последний, я успел оглянуться назад. И увидел, как наша «столыпинка» отрывается ото льда, крепится на маневровых и уходит вверх, в ту смоляную муть, что сходит на Харпе за небо. Уходит целой и невредимой. И, что важнее, с целым, живым и почти не пострадавшим майором Пархоменко на борту — ровно как я ему и пообещал двое суток и три перехода тому назад. То, что борт пока не ляжет на курс к столичной планете, а отойдёт в сторонку и затаится в режиме радио и электронного молчания, поджидая моего сигнала, чтобы за нами вернуться, и то, зачем мне там понадобились Ипполит, Асклепия и подбитая Анжела, расскажу позже. Всякому фокусу свой выход.

Итак, я улыбнулся кутаясь в одеяло. Хорошо, что одеяло было у меня, впрочем, как и все у нас, было накинуто и на голову: улыбка, чую, вышла самая что ни на есть глупая — так ухмыляется человек, у которого хитрая затея вдруг сложилась без единой осечки и который пока не подозревает, что именно этим судьба обыкновенно и оскорбляется.

Наконец, мы добежали и нас загнали в гулкий, тёплый, насквозь пропахший чем-то казённым и застоявшимся, большой зал. Тридцать человек на одной длинной цепи, заиндевелые, злые, тянущиеся к теплу, как мошкара к лампе. Мы поскидывали с себя уже не нужные и ни фигура не обогревающие одеяла. Я повёл занемевшими плечами, огляделся — и поймал взгляды своих товарищей.

Все они стояли рядом, в таком же оранжевом, такие же бодренькие от мороза, такие же будто бы смирные. Папа разглядывал пол с постным видом старого сидельца, которому всё это не в новинку. Мэри изучала потолок — по-моему, всерьёз прикидывала, за какую балку сподручнее перекинуть веревку. Капеллан беззвучно шевелил губами: то ли молился, то ли

пересчитывал охрану, у него это нередко одно и то же занятие. Кроха возвышался над цепью молчаливым утёсом, хотя я постоянно ему твердил, чтобы он пригибался, чтобы не сильно выделяться из толпы и тем самым не обращаться на себя лишнего внимания. Толик откровенно сиял, и я качнул ему головой — рано, пока придержи, на что Толик придержал ровно настолько, насколько Толик вообще способен хоть что-нибудь в себе придержать.

Кнутов же(да—да, наш полковник тоже был здесь) поймал мой взгляд и едва-едва опустил подбородок. Не похвала — на людях полковник похвалой не сорит. Просто: живы, на месте, работаем. Я кивнул в ответ. Вышло. Мы на месте.

Теперь о том, как мы оказались на этом самом месте.

Как вы помните, началось с того, что мы с полковником всё-таки уломали майора Пархоменко идти с нами на «дело». «Уломали» — слово ещё приличное, на людях говорить не стыдно. На деле мы его додавливали часа полтора, как могли: я — посулами, Кнутов — присутствием, а в перерывах Гена заваривал себе свой травяной кипятик и пил его так, будто это не пустырник, а лекарство от всей разом несправедливости мироздания. Вполне возможно, что сдался он не потому, что поверил, а потому, что остаться в одиночестве боялся сильнее, чем идти с нами. После чего весь наш цыганский обоз — это: я, ребята и наши неотступные роботы, включая бодрую духом и дырявую телом Анжелу, переселился с «Фемиды» на казённую майорскую «столыпинку».

На «Фемиду» же мы перенесли мёртвых. Семерых.

Тут прошу внимания и прошу запомнить число. Семь. Оно ещё аукнется. Помните, перед самой посадкой я приставал к майору и полковнику с вопросом на вид дурацким: сколько у нас в салоне за дверью находится покойников? Гена тогда позеленел, а Кнутов насупился, и оба честно признались, что не считали, — не до бухгалтерии было. А я считал. Я вообще автоматически пересчитываю всё, что вижу, особенно когда от итога зависит, доживёт ли кто из присутствующих до завтрака. В общем, кое-кто из уркаганов полёг в первой свалке с конвойными роботами. Кто-то — во второй, уже от наших рук, чего греха таить. Ну, и наконец, старик Слип, который под занавес выбрал дорогу покороче и поставил себе точку сам. В сумме — набиралось семеро.

Запомнили? Едем дальше.

Эта-то семёрка и придушила главный майорский кошмар. Боялся наш Гена не отвлечённо: он боялся, что на приёмке прапорщик-громила углядит в живом грузе недостачу — и спишет его, майора, по той самой графе, по которой однажды, у него на глазах, списали его сослуживца. Просто, без затей, пулей в лоб, за одного-единственного недостающего арестанта. Соответственно семь покойников — это семь прорех в ведомости и столько же поводов для громилы потянуться к кобуре. И когда Гена, запинаясь, расписал нам эту радужную перспективу, я выложил план, от которого у обоих моих слушателей вытянулись лица, у полковника даже железная половина, а это, поверьте, дорогого стоит.

План был до неприличия прост. Недостаёт семерых — будут им семеро. Мы сами натянем оранжевые робы, защёлкнем браслеты, встанем в общую сцепку и займём места выбывших. И судьба, у которой, как выяснилось, всё-таки имеется чувство юмора, мне тут подмигнула: нас оказалось аккурат столько, сколько доставало.

Почти.

Кнутов выслушал меня, не перебивая, потом поднял протез и принялся отгибать палец за пальцем — каждый с коротким металлическим пришёлком, будто не людей считал, а загонял патроны в магазин.

— Итак. Ты. Жгутиков. Сержант Рычков. Капеллан. Мэри. Кроха.

На последнего пальца не хватило, но суть была понятна.

— Шестеро, Васильков. Где седьмой? Ты как считал? Или Кроха у нас за двоих идёт?

— Считаю я отлично, господин полковник, — отозвался я как мог смиреннее. И просто посмотрел на него. Молча. Хороший взгляд порой экономит целый абзац объяснений.

Пётр Александрович взгляд прочёл. Я следил, как до него доходит — по живой щеке, той, где ещё двигаются мышцы, а не приводы. Сперва недоверие. Следом — что-то среднее между «ты, ведь, сейчас пошутил» и «я тебя сейчас прихлопну». А под конец то самое выражение, с каким человек осознаёт, что его вот-вот попросят проделать нечто, чего тридцать лет безупречной выслуги не предусматривали ни единым пунктом.

— Нет, — не веря в свою догадку, покачал он головой.

— Всё правильно, седьмой — вы, Пётр Александрович. — Я произнёс это вслух, на случай если полковник тешил себя надеждой, что ослышался.

— Нет, — повторил он чугунно, тем тоном, которым обычно закрывают тему вместе с дверью. — Боец, ты часом темечком об палубу последнее время не прикладывался? Я — командир. Командир, если ты забыл, тринадцатого штрафного батальона. Меня прислали рекрутов набирать и распоряжаться тут всем, а не влезать в каторжную хламиду и строить из себя арестанта в твоём бродячем балагане. — Он коротко двинул протезом, будто отметал самую мысль. — Руку мне уже укоротили. Репутацию на казённую робу я куда не выменивал.

— И не выменяете, — ответил я. — Только представьте, что это единственный вариант нам оказаться на месте. Согласен, немного необычно, но зато входим тихо, полным составом, без единого хлопка. А уже внутри вы скидываете робу — и в ту же секунду снова делаетесь самым большим начальством на расстоянии в световой год. Принимаете управление, теперь уже над колонией, и без помех набираете своих рекрутов. Войти надо красиво и без потерь, господин полк. Мне ли вас учить...

— Уж, точно не тебе, — буркнул в ответ Пётр Александрович, прижатый моими аргументами к стенке.

— А красиво тут — это только незаметно, — улыбнулся я.

Кнутов пару минут помолчал. По живой щеке гулял желвак, и я чуть ли не слышал, как у него внутри устав сходитесь врукопашную с одной простой и до крайности неудобной мыслишкой: а ведь мальчишка дело говорит. Парадным шагом, с приказом наперевес, нас в эту нору не впустят — развернут ещё на подлёте, а то и спалят, мы это уже посчитали. А вот бочком, в общем гурте

— А, чтоб тебя, — выдохнул он наконец так, как ставят подпись под капитуляцией. — Но если хоть одна живая душа когда-нибудь, где-нибудь сболтнёт, что полковник Кнутов въезжал в «Сову» на цепочке, будто комнатная собачонка, — я тебя, Васильков... Ну, ты понял?

— Никто не сболтнёт, — пообещал я. — А сболтнёт — назовём стратегическим манёвром глубокого внедрения. Звучит почти как в наградном листе.

На том и поладили.

По-итогу, семеро мёртвых зэков отбыли на «Фемиде» — той самой посудине, на которой мы в своё время улизнули сперва с Новой Москвы-3, а после с заправочной «Сто первый километр» и которую к этому часу разыскивала, надо думать, вся столичная полиция со всеми ведомствами в придачу, причём разыскивала с упоением голодной своры. Держать покойников на борту ИСИН было негде. Сбросить в космос — нельзя: труп как-никак улика, а улики в деле о бунте ещё понадобятся, и подбрасывать дознавателям лишний повод проворчать «заметали следы» в мои расчёты не входило. Так что мы бережно перенесли всех семерых, запустили автопилот и спровадили «Фемиду» своим ходом — к ближайшему развлекательному центру на бойком отрезке между вратами.

Каюсь, я при этом мысленно потирал руки. Где-то там, в глубине столичной системы, по нашему давно остывшему следу наверняка уже крался неумёмный капитан Филин — из той въедливой породы ловчих, что идут по следу и тогда, когда никакого следа не осталось и в помине. Рано или поздно он «Фемиду» настигнет, возьмёт, так сказать, на абордаж, ворвётся

в салон, переполненный служебным негодованием и готовый вязать весь беглый штрафбат, — и обнаружит совсем другую публику. Очень, очень смиренную. Я бы дорого дал, чтоб поглядеть капитану в лицо в этот миг, но всего на свете не выпросишь, обходимся воображением. Воображение у меня, врать не стану, было хорошее...

Дальше потянулась собственно дорога. Двое стандартных, земных суток, три межзвёздных перехода — и ни одна живая душа нас так и не окликнула, не тормознула на таможенных постах и постах КПС, не сунула любопытный нос на борт. Плановый конвойный корабль на утверждённом маршруте — скучнее зрелища в галактике не сыскать, на него и смотреть-то лень, и в этой вселенской зевоте пряталось всё наше спасение. Так мы и доползли до системы «Южный Урал» с её главной и единственной обитаемой планетой — тем самым Харпом-7.

За двое суток в общем тесном салоне поневоле перезнакомишься. Я, к слову, накоротке сошёлся с тем самым космодесантником по кличке Хиля, с которым мы от души подправили друг другу скулы во время подавления бунта. Хиля по-прежнему берёт слова, точно патроны для верного выстрела, но молчал уже не зло, а почти по-приятельски, без давешнего намерения завязать мне шею морским узлом. А ещё я свёл знакомство с человеком, оказавшимся, не побоюсь сказать, главным сокровищем всей нашей оранжевой братии. Звали его Кодыч, по ремеслу — медвежатник, мастер по чужим сейфам.

Он показал мне универсальную отмычку.

Я-то приготовился увидеть тонкий, хищный инструмент. А увидел невзрачную самоделку, склёпанную, судя по виду, из всего, что плохо лежало на этой планете и в радиусе пары соседних. Но самоделка, божился хозяин, отпирала что угодно: магнитные браслеты, электронные замки, сейфовые двери — снимала коды доступа прямо из воздуха, как иные на слух подбирают мотив.

— Сам сладил, — поделился Кодыч не без законной гордости.

— Прямо в колонии? — изумился я.

— Можно сказать, из ничего, — продолжал он, утвердительно кивая.

— Ничего себе, — я уважительно хмыкнул. — И как же ты её сквозь шмоны протащил? Тут, говорят, и под языком глядят.

Кодыч глянул на меня с кроткой укоризной мастера, которому приходится растолковывать азбуку, и поведал, где именно держал сокровище все эти годы. При себе. Очень глубоко при себе. Если понимаешь, о чём идёт речь.

Я переваривал информацию молча и спокойно. Мол, бывает. А вот Хиля переварил мигом — потому что именно его, Хилю, не далее как день назад этой самой отмычкой избавляли от наручников, любезно прижимая инструмент к запястьям. И едва до бывшего десантника дошло, какими извилистыми тропами странствовала вещица, ещё недавно гостившая у него на руках, он без замаха и без единого слова — все свои подвиги Хиля вершил в полном молчании — потянулся к Кодычу с очевидным намерением вернуть имущество строго по месту хранения.

Я успел вовремя. Повис у него на локте, что по действенности примерно равнялось попытке удержать за рукав уходящий со старта шаттл, но прицел сбил.

— Тихо. Тихо, десантура, — зашипел я ему в ухо. — Он нам ещё пригодится. Целиком. И, по возможности, в исправности.

И, честное слово, ровнёхонько в эту секунду, одной рукой удерживая закипающего десантника, другой заслоняя бледного вора, я и сообразил, как нам проскочить приёмку.

Загвоздка заключалась вот в чём. Тридцать нас и было — тютелька в тютельку по бумаге. Спотыкались мы о другое: о то, как именно нас станут проверять. По первой моей, такой стройной задумке всё рисовалось безоблачно: переоделись, борт улетел, нас завели внутрь — и уж там, внутри, сверили личности. Логично же: на ледяном поле возни с техникой не разведёшь,

да и проверяющий не самоубийца, чтоб морозить нос над каждым запястьем; чипы под кожей не сбегут, в общем дело терпит до тёплого помещения.

Гена эту мою башню обрушил одной фразой. Проверяют, говорит, прямо у трапа. Сразу. На поле. А чтоб контингент при этом не обратился в ледяные статуи, каждому заключённому он ещё на борту выдаёт лёгкое самогреющееся одеяло: укутался, дотянул до помещения — а дальше уж не твоя забота.

Одеяла, с одной стороны, были чистым подарком небес: завернувшись с головой, мы, семеро ряженных, растворялись в общей оранжевой гурьбе буквально бесследно. С другой — оставался сканер. Небольшая ручная коробочка: ткнул в запястье, и она за секунду вытряхивает из чипа всю подноготную владельца. А моя подноготная, как и подноготная полковника Кнутова и всех остальных штрафников, в имперском реестре осуждённых, слава Богу, пока не значилась.

Вот тут я и оглянулся на Кодыча. Точнее, на его игрушку. Потому что, нахваливая своё изделие, мастер обронил про одну прелюбопытную его повадку: оно ведь не только вскрывает и считывает — оно умеет и обратное. Глушить сигнал, например. Сыпать помехами, перебирать коды наугад, забивать эфир трухой и попросту валить наповал всякую работающую поблизости электронику. Всё, что умеет открывать, умеет и ломать, — и сказано это, если вдуматься, далеко не про одни отмычки...

Так и решили. Когда «столыпинка» села и нас погнали на выход, мы со своими втиснулись в самый хвост колонны — поближе к трапу, мало ли придётся на ходу перекраивать затею. А Кодыча, напротив, поставили в середину. Тот сунул себе в рукав отмычку — уже активированную и тихонько вершившую своё чёрное, а по сути спасительное дело.

Дальше всё прошло, как по маслу, даже мягче. Прапорщик — тот, что на лютом морозе чувствовал себя привольнее, чем я в горячей ванне, и одним этим был мне сразу несимпатичен, начал тыкать приборчиком в подставленные запястья. Скучно, деловито, по накатанному. А как добрался до середины, до Кодыча с заряженным рукавом, коробочка в его лапе мигнула, дёрнулась и потухла.

Дальше — вы и сами всё знаете, только с другого боку. Прапорщик тряс прибор, бил им о ладонь, давил на перезагрузку — древние камлания, которые техника чтит примерно так же, как кошка чтит строевой устав. Кто-то из охраны заикнулся сбегать за запасным. А пятнадцать минут на таком холоде для контингента в одеяльцах с пятиминутным запасом тепла — это, если без розовых очков, тридцать готовеньких ледышек. И прапорщик, прикинув, как поволочёт начальству вместо тридцати работников тридцать сосулек, за запасным не пошёл. Пересчитал нас по головам, по-стариковски, пальцем по воздуху, после чего приложил большой палец к майорскому планшету. И отпустил Гену Пархоменко на все четыре стороны.

Гена улетел. Живой и непочатый — точь-в-точь как я ему клялся в той тесной кабине, пока он отпаивал свои нервы травяным кипятком...

Вот и весь фокус. И до этой самой секунды — пока нас вели с мороза в тепло, пока я под одеялом отогревал нос и грел самолюбие мыслью о собственной несравненной ловкости — всё шло без сучка, без задоринки. Гладко. До оторопи.

Как только мы вошли в здание, в эту секунду полковник Кнутов рассудил, что маскарад окончен.

Я увидел краем глаза: одним движением плеч он стряхнул с себя одеяло, и блёклая блестящая тряпица сползла к его ногам. Даже в дурацкой робе, сидевшей на его прямой спине так, как сидит хомут на чистокровном коне, он оставался полковником — выправку, в отличие от обмундирования, на складе не выдают и обратно не принимают. Пётр Александрович выпрямился во весь рост, обвёл гулкий зал тем взглядом, под которым всякий невольно припоминает разом все свои прегрешения за последний десяток лет, и поднял скованные магнитными наручниками руки, коротким, не терпящим обсуждений жестом подзывая прапорщика.

— Прапорщик. Ко мне.

Тот обернулся — медленно, с лицом человека, у которого в безупречно смазанном механизме вдруг что-то лязгнуло наперекор чертежу.

— Полковник Кнутов, — отдельно, в упавшей тишине выговорил Пётр Александрович, и голос, приученный перекрывать рёв десантных движков, отскочил от голых стен так, что где-то под потолком жалобно тренькнуло. — Командир тринадцатого штурмового(для пущей важности Кнутов немного изменил прилагательные, убрав слово «штрафной») батальона. Я прибыл в твою колонию с приказом и с полномочиями, про которые ты сейчас узнаешь много нового и сильно удивишься. — Подбородок его качнулся в нашу сторону, и шестеро в оранжевом разом сбросили одеяла.

— Это — мои люди...

Глава 2

Конвоиры — тот самый десяток с лишком, что пригнал нас с поля, закованные в ратники по самые брови и при оружии, — переминался с ноги на ногу и явно не знал, куда себя теперь приткнуть. Их можно было понять. Ещё минуту назад они стерегли смирное стадо, а теперь посреди стада стоял, развернув плечи, живой имперский полковник и во весь голос объявлял, что ещё шестеро в робе — тоже с ним. Под такой поворот у рядового конвойного в голове отдельной полочки не заведено.

Прапорщика рядом не было. Он сорвался с места ещё на середине кнутовской фразы и унёсся в недра колонии за единственным человеком, способным этот узел распутать или хотя бы разрубить. За своим хозяином.

Ждать пришлось недолго.

Дальняя створка отъехала в сторону с тем солидным придыханием, с каким открываются двери, за которыми сидит начальство, и начальник «Полярной Совы» явился собственной персоной, а следом, на полшага позади, сопровождал его и Лютый, успевший по дороге придать лицу выражение бесконечной служебной преданности.

Я посмотрел на Барчука. Признаюсь, я ждал чего-то погабаритнее. А вошёл человек маленький, кругленький, из тех, кого хочется усадить в кресло и поднести стакан чаю. Седоватый, гладко прибранный, в наспех запахнутом кителе он плыл по залу неторопливо, вразвалочку, и улыбался. Вот улыбка-то всё и портила. Губы складывались приветливо, а глаза при этом не участвовали вовсе — смотрели ровно, не мигая, чуть прижмурясь, как смотрит змея на птицу, которая ещё не сообразила, что разговор уже окончен. И голос ему достался под стать: тихий, тёплый, обволакивающий, из тех голосов, какими уговаривают не дёргаться, пока накладывают жгут.

За спиной у этой ласковой парочки втянулись в зал ещё четверо охранников — без спешки, деловито, веером, привычно перекрывая выходы. Я отметил и это. Считать выходы в незнакомом месте — занятие полезное.

Барчук остановился шагах в трёх от полковника. Снизу вверх оглядел его — долго, обстоятельно, как покупатель оглядывает коня, которого ему расхваливают, а он уже решил не брать. И только потом заговорил.

— Стало быть, вы — полковник, — пропел он мягко. — Прямо живой полковник, надо же. А мне доложили — арестант с причудами. Гора с плеч, право слово. Не каждый день на «Полярной Сове» гости таких высоких чинов, да ещё, гляжу, в нашей арестантской униформе. К лицу, к лицу.

— Полковник Кнутов, — отчеканил Пётр Александрович, и голос его в гулком зале прозвучал так, что кто-то из конвойных невольно подобрался. — Тринадцатый штурмовой. Эти шестеро — он снова кивнул на нас, сгрудившихся, насколько позволяла цепь, к которой мы были прикованы, вокруг своего начальника. — Прибыл я к вам, по казённому делу и, доложу, делу в общем-то скучному: а именно, набор рекрутов. Империи нынче нужны люди, которым нечего терять. У вас тут таких, полагаю, полные бараки. Иные из ваших сидельцев предпочтут поменять робу на форму, нары на казарму, а пожизненное — на пускай и недолгую, но службу с правом однажды выйти за ворота не вперёд ногами. Им — выбор. Мне — пополнение. Вам — на каждого завербованного на одну прожорливую глотку меньше. Сделка, при которой никто не останется внакладе.

Гладко излагал наш полковник. Я даже зауважал — не подозревал в нём такого складного канцелярского дара. Видно, дорога к красноречию у человека лежит через необходимость хоть раз в жизни выторговать себе и шестерым подчинённым право не сгинуть в каторжной норе.

Барчук слушал, чуть склонив голову набок, и кивал — мелко, сочувственно, как кивают рассказу, которому ни на грош не верят, но из вежливости дослушивают до конца. А я следил за его глазами и видел: верит. Не до конца, конечно, без радости, через силу — но верит. Не дурак же он, в самом-то деле. Кнутов стоял перед ним как влитой, выправку, в отличие от обмундирования, на тюремном складе не выдают. А рядом стояли мы, и хоть нас тоже обрядили в оранжевое, но что-то в нас было не то и не так для здешнего нюха. Не та повадка. Барчук много лет нюхал свой контингент и урку от не-урки отличал, должно быть, на запах, с закрытыми глазами. И сейчас этот нюх ему нашёптывал то, чего хозяину «Совы» отчаянно не хотелось слышать.

Не сводя с полковника медового взгляда, Барчук едва приметно качнул подбородком в сторону. Лютый понял этот знак без слов. В лапе у него уже наготове была коробочка сканера — на сей раз, я так понимаю, не та, что издохла на морозе, а новенькая, исправная, которую он держал как драгоценность, лишь бы перед хозяином больше не оплошать.

Он прошёл вдоль нашего короткого строя. Поднёс приборчик сначала к запястью Папы — тот с готовностью подставил руки, изобразив на лице скуку бывалого сидельца, которого за жизнь сканировали столько раз, что и со счёта сбился. Коробочка пискнула впустую: то есть чипа не было. К Мэри — впустую. К Капеллану, к Крохе, к Толику — пусто, пусто, пусто. Дошла очередь до меня; я подставил запястье едва ли не любезно. Тишина. Никакого чипа, который по уставу полагается носить под кожей каждому, кто переступил порог имперской каторги. Под занавес Лютый, чуть помедлив, протянул сканер к самому полковнику. И снова — ничего. Чисто.

Логика тут железная, и Барчук её, разумеется, считал быстрее меня. Нет чипа — значит не арестант. Кучка не-зэков посреди партии зэков. Маленькая такая, аккуратная, не значащаяся ни в одной ведомости.

— Вот видите, — спокойно произнёс Кнутов, и поднял руки, поведя ими вдоль нашего ряда. На запястьях у нас, выпрастываясь из рукавов, тускло блестели магнитные браслеты в дополнение к длинной цепи. — Данных в вашем реестре на нас нет. Людей вы проверили. Может, теперь снимем с меня и с моих ребят эти украшения и продолжим беседу в обстановке, более приличной чину? У вас тут наверняка сыщется кабинет потеплее этого сарая. И, чем чёрт не шутит, чайник.

Барчук улыбнулся полковнику ещё ласковее — и я понял, что вот теперь-то нам и поплохеет.

— Снять наручники, говорите, — промурлыкал он. — Освободить... Чайку» захотелось? Шустро вы, любезный, распоряжаетесь в чужом доме. — Он сделал крохотный шаг назад, словно ненароком, и заложил пухлые ручки за спину. — А я ведь, господин полковник, человек простой и недоверчивый, уж не обессудьте. Положим, чипа на вас нет. И что мне с того? Чипа нет и на моём дантисте, а я его всё одно к секретным журналам не подпущу. Отсутствие клейма ещё не делает гостя желанным. Откуда мне знать, что вы — это вы, а не семёрка лихих ребят, которой кто-то из моих постояльцев шепнул на ушко, как половчее пробраться в «Полярную Сову»? Пробраться, а после тихонько отворить пару нужных дверей и вывести наружу пару нужных человечков? У меня тут публика сидит такая, что за её спинами на воле остались друзья весьма, весьма предприимчивые.

Полковник набрал воздуха, но Мафусаил Семёнович ласково поднял ладошку — дайте, мол, договорить старику.

— И вот ещё что мне покою не даёт, — продолжал он, и в медовом голосе впервые проскользнула стальная ниточка. — Допустим на минуточку, что вы и впрямь те самые благодетели-вербовщики. Дозвольте полюбопытствовать: что же вам помешало прилететь сюда полюдски? Открытым бортом, с музыкой, если хотите, как оно у государевых людей заведено? К чему этот балаган с переодеванием в грязную робу и с цепями? Честному человеку прятаться

не от кого. А вот тому, у кого рыльце в пушку, очень даже есть резон проскользнуть бочком да в общем потоке.

Вопрос повис в зале, и я почувал: отвечать Кнутову нельзя. Не его это разговор. Полковник умел поднимать в атаку роту и в одиночку загнать в угол кого угодно при штабе, но вот в такой беседе — скользкой и одновременно базарной, где врать надо весело и на ходу — он был как танк на катке: грозен, но не для этого приспособлен. А врать весело и на ходу — это, не считите за похвальбу, по моей части.

— Оттого и не прилетели открыто, гражданин начальник, — подал я голос, — что охота пожить.

Барчук перевёл на меня удивлённый взгляд — неспешно, с тем благодушным любопытством, с каким смотрят на заговорившую вдруг мебель.

— Ходит, понимаете, по нашей необъятной Империи нехороший слушок, — продолжал я, копируя его разговорный стиль и стараясь, чтобы в голосе было поменьше штрафника и побольше человека, которому скрывать нечего. — Будто кто прилетит к «Полярной Сове» в открытую, тот ровно до орбиты и долетит. А там его ваши плазменные пушки приглубят — и пожалуйста: висит на орбите свеженький космический мусор. После таких слухов, согласитесь, как-то спокойнее войти тихо. Бочком да в общем стаде, как вы изволили выразиться. Целее выйдет.

Я говорил и краем глаза караулил, как ляжет. Легло недурно. По залу прошелестело — конвойные переглянулись. Видать, про пушечки тут знали не понаслышке, и связывать их с прибывающими гостями им раньше в голову как-то не приходило.

Барчук же и бровью не повёл — только улыбка его на самый волосок остыла.

— Слушок, — повторил он мягко, будто пробуя слово на вкус, как пробуют, не прокисло ли молоко. — Любопытные до вас слушки доходят, дружок. И кто же это у нас такой языкастый? Кто вам, молодой человек, напел про мои пушечки?

— Сорока на хвосте принесла, — ответил я и сделал самое честное лицо из всех, что у меня имелись в запасе.

А Барчук вдруг засмеялся — коротко, тихонько, нутряным таким смешком, от которого мне стало куда неуютнее, чем от любого крика.

— Сорока, — проговорил он почти нежно. — Ах, сорока. Да, это птица вертлявая, болтливая. И, главное, летает у нас тут ровно одна — туда-сюда, туда-сюда, и всё с грузом по расписанию. — Он медленно, словно нехотя, обернулся к Лютому, и они обменялись взглядом. Коротким, без единого слова, но мне этого взгляда хватило, чтобы прочесть в нём целый приговор. — Видно, наш майор. Тот самый, что в колонию исправно мясо подвозит, разболтался. Ну, ничего. С ним мы потолкуем отдельно, по-семейному.

Лютый понятиво качнул бритым черепом, и в этом коротком кивке я с тоской расслышал, как над майором Геной Пархоменко — отпаивающим нервы травяным кипятком майором, которого я клятвенно заверил, что не допущу над ним расправы, медленно и неотвратимо сгущаются тучи.

Вот тебе и довёл человека до тихой пристани. Спас от пули за недостачу — и аккурат подвёл под другую, за длинный язык, которого он, между прочим, и не распускал: всё, что распустилось, распустил я. Стало быть, теперь и расхлёбывать мне. И стало окончательно ясно: на полпути это дело бросать нельзя. Не выйдет тихо взять своих рекрутов, пожать ласковую, наверняка потрую ладошку местного гражданина начальника и убраться восвояси. Тут, под этой тёплой норой, что-то гнило — гнило давно, основательно, — и сорока тут был не Гена. Сорока тут был наш кругленький, медоточивый, со змеиным прижмуром хозяин, и, помимо всякого рекрутинга, мне предстояло вытряхнуть из «Совы» все её припрятанные секреты. В любом случае, иначе живыми нам отсюда не выпорхнуть — ни мне, ни ребятам, ни тому же майору.

Но это после. А пока — улыбаться и тянуть время.

— И всё же, господин полковник, — Барчук, отсмеявшись, мягко вернул взгляд на Кнутова, и ласковости в нём как не бывало, — на главный мой вопрос вы так и не соизволили ответить. Кто вы есть. Соизвольте уж. Ежели вы, конечно, и впрямь полковник, а не ряженный — не подельник какого-нибудь из моих питомцев, обрядившийся в чужие погоны.

Вот тут уже и Пётр Александрович начал закипать — по-настоящему, всерьёз. Я видел, как на живой его щеке снова заходил желвак, как побелели сжатые губы. Но Кнутов, надо отдать ему должное, удержался. Только медленно, очень медленно закатал рукав рубы на живой руке.

На запястье у него был надет идентификационный браслет. Полковник тронул его, и над браслетом развернулась, дрожа и наливаясь светом, голограмма. Сухой, бесполой голос помощника раскатился по притихшему залу:

«Полковник Кнутов, Пётр Александрович. Командир тринадцатого штрафного(электронный голос всё-таки выдал, что мы не штурмовики) батальона. Место приписки — планета Новгород-4».

— Далеко же вас занесло от Новгорода, господин полковник, — заметил Барчук с усмешечкой, но я уже наловчился читать его и расслышал под усмешкой иное: ту тонкую, дребезжащую нотку, которую человек выпускает, когда почва под ним поехала, а виду подавать нельзя. Доброжелательность сидела на нём всё хуже — как тот самый китель на животике, не желала сходиться. — Что же вам у себя на планете смерти не служилось? На мою полезли?

— Работа, — уронил Пётр Александрович. Одно слово, без объяснений, и в этом одном слове было больше достоинства, чем во всех барчуковских кружевах.

И тронул браслет снова. Прежняя голограмма свернулась, на её месте развернулась новая — шире, торжественнее, с тяжёлым гербовым орлом имперской печати наверху. Приказ. По всей форме, с подписями, с положенными казёнными оборотами: о направлении командира такого-то для производства рекрутского набора в исправительной колонии «Полярная Сова». Чёрным по золотому. Не придерёшься.

Барчук шагнул ближе. И — не утерпел: не дожидаясь, пока Лютый сам додумается, цапнул у прапорщика из лап сканер и собственноручно провёл считывающим торцом вдоль парящего документа. Коробочка деловито пожужжала и выдала своё короткое, бесстрастное заключение: документ подлинный. Электронная подпись настоящая, печать настоящая, приказ настоящий.

И вот тут, наблюдая за его круглым лицом, я увидел, как в этом человеке что-то переломилось.

Потому что игнорировать такое доказательство было уже нельзя. Сканер только что подтвердил: перед ним настоящий имперский полковник с настоящим имперским приказом. По всем законам Барчуку оставалось одно: щёлкнуть каблуками, снять с гостей браслеты, отвести в тёплый кабинет и подать тот самый чайник. Но я смотрел в его прижмуренные змеиные глаза и видел, как там, за плёнкой, бешено крутятся совсем другие колёсики.

Признать полковника — значило впустить его. А впустить — значило отдать ему «Сову» на несколько суток в полное распоряжение. То есть с правом ходить где вздумается, заглядывать в любые ведомости и списки. И тогда этот одноглазый, однорукий, дотошный, въедливый служака непременно, не сегодня, так завтра, споткнётся о то, обо что споткнуться никак не должен. О недостачу в людях. О то, что живых душ в бараках «Полярной Совы» куда меньше, чем значится в бумагах. А споткнувшись, начнёт копать. А копнув единожды, такие, как Кнутов, уже не останавливаются, покуда не выроют всё до самого дна. И тогда наружу полезут все потайные секреты колонии — те, ради которых, надо думать, кругленький Мафусаил Семёнович и держал свою тёплую нору на самом краю обитаемого космоса, подальше от любопытных глаз.

Допустить этого он не мог. И я буквально кожей почувал ту секунду, когда хозяин колонии решил, что лучшая защита — это нападение.

Барчук вдруг отпрянул. Резко, по-кошачьи проворно для такого колобка отскочил от полковника, от нас, от парящего приказа, словно мы все разом обратились в открытое пламя. И закричал. Тонко, визгливо, с тем хорошо отмеренным ужасом в голосе, какой не рождается сам, а ставится годами:

— Бандиты! Самозванцы! Охрана, ко мне! — Пухлая ручка тыкала в нашу сторону, и тряслась она ровно настолько, насколько надлежит трястись руке честного начальника, на чьих глазах вершится злодейство. — Гляньте на них! Документ поддельный, печать поддельная, и сам этот ряженный — поддельный! Это преступники! Они пробрались в мою колонию обманом, в краденной форме, с фальшивыми бумагами — освобождать дружков своих, поднимать бунт! Я насквозь таких вижу!

Красиво говорил, бестия. И ведь не докажешь вон тем охранникам, что нас окружили: что сканер показал подлинность, видели в этом зале ровно двое — он сам да Лютый. Для прочих конвойных слово хозяина было единственной правдой на свете. А хозяин кричал «подделка». Значит, так и есть.

— Взять их! — выдохнул Барчук. — Всех семерых. В карцер. До выяснения.

Лютый мгновенно встрепенулся. У него ведь только-только, должно быть, отлегло от сердца: грозовая туча барского гнева, висевшая аккуратно над его бритой головой, вдруг развернулась и поплыла прочь — на пришлых. И прапорщик, обрадованный, что нынче бьют не его, кинулся выслуживаться с утроенным азартом. Громила развернулся к своим, набрал полную грудь и рывкнул так, что под потолком жалобно тренькнуло:

— Чего встали?! Слыхали хозяина? Брать этих ! Живо!

Конвоиры качнулись вперёд, защёлкали оружием, и тёплый сытый воздух зала вдруг сделался очень тесным.

Кнутов, надо отдать ему должное, в отличие от нас, даже не шелохнулся. Только обвёл взглядом надвигающихся конвойных, потом перевёл его на Барчука — спокойно, почти с жалостью, как смотрят на человека, который сам, своими руками, у всех на виду подносит спичку к собственному пороховому погребу.

— Господин начальник колонии, — проговорил он тяжело, и каждое слово падало в тишину, как гиря на весы. — Ты хоть понимаешь, что творишь? Ты сейчас, при свидетелях, поднимаешь руку на

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.